истерика истерик

опыт кубоимажионистической росписи футуристического штандарта

Истерический всхлип с облаков. Б. Поплавский

Искариоты, Вы Никуды Я сам себя предал От большого смеха болтаю ногами. Крученых

Браво я тобой доволен Пусть художник будет волен А наука весела.

Ф. Ницше

Моя рука рука глупца: горе всем столам и стенам и всему на чем есть место для украшений и пачканий глупца.

Заратустра. III. ст. 225

Иному ты должен дать не руку а только лапу, а я хочу чтоб у лапы твоей были также когти. Заратустра. I. ст. 35

|1|

У Него пристальная голова, рассеченная пробором с спокойной истерикой в прорезах глаз, холодной, как блики на стали. Она — нечто фейерверочное, форма облачного моста, искривленная нервностью любовной спешки, угорелой суеты бульварной необходимости немедленной жизни. Жесткая немощь его бесподбородочного счастья при

блеске наркотического магния въедалась в мрачные обои темных туманностей дней масляно-бесчисленной гладью узкоколейной реки с радужными разводами любовной нефти, стоячей канавы воспоминаний с чудовищным всплеском зоологического страдания, принявшей в свою дымчатую глубь стальные клочья теологических зорь, понтонных могил туч, невидимо бороздящих глубокое русло. Никогда не был этот человек собой, подобно тысяче заспанных смертью и простуженных жизнью агентов гудящего, как фабрика, города; сам был своим некто, на лазурной одежде неба, сине-эмалевом своде проникновенной профанации настоящей скорби чертил, ослепший от мерцания свечей, смеющихся чертей идеального человечества, как школьник мелом на засаленной спине лысого математика — этой зазубренной отмычкой несгораемого шкафа человеческой вечности, выроненной тюремщиком; некто, сожженным огромной слезинкой, граненой из огненной радуги неплачущей скорби Бога; некто, впервые растерявшимся от вопля при взрыве недостроенного пролета сумасшедшего моста человечества с коваными рельсами нервов на шпалах прессованных сердец к колонизированному ангелами солнцу. Чертил со свистом на громком небе моем ракетные орбиты Данииловых письмен.

|2|

Рассеченное пробором Око его мутно любило улицу, глотая ацетиленовые улыбки моторного мелькания ее пестро-фугасных глаз, не беременело каторжной

скорбью розовых умников, разрешаясь неистово-нежным, к упитанным пульсирующим гудом рабочим асфальтированных рудников багрового отчаянья, чахоточного румянца раскалившихся площадей под мутно-пьяными глазами выпученных на режущие флаги из окон витрин.

Жесткоглазых рабочих, которые в каждое жесткое утро и истерически обязывающий вечер с прокуренных нор шестиэтажного логова, с шахтерной лампочкой кармина на искривленном коме бессоницы и скуки, через вихристые штольни подъемных машин, заплеванные клети социальной трансформации* стекали трахомными слезами к вечно простуженному надорвавшимся вентилятором лабораторному <нрзб.> осеянно культурного способа коллективного лечения старого слона человечества, застоявшегося в зверинце у бога, рельсовых объятий бетонного удава, гигиеническим прорезом морщинистого живота, поселковой дороги пасторальному ветру, в визгливо урчащие галереи сводчатым дымом и туманом с ватной прослойкой истерик в крикливом воздухе; с библейскими маяками звезд лиловыми бликами тревожно скрипящих юпитеров, на каплях сырости громоздящихся верст столетиями оседающего потолка усталых небес в ссадинах копоти, царапинах дыма об черные зубы труб,

^{*} Здесь заканчивается второй лист машинописи (начиная с последних трех букв слова «трансформации» и заканчивая словами «в зверинце у бога» текст написан карандашом на обороте листа).

которые нагло скалит улица у подкрашенных суриком губ из крыш. К копотным трамваям, светящимся вагонеткам потно-глыбастого труда, к красно-стремительным взрывам рудничного газа, выкряхтанного сердцами в портянках сволочи, рушащих на плечи сутулых от преющей силы блевотину аккуратного космоса в тысячах тонн шрапнели; к суетно-близкому, как дрель дантиста, маховому сознанию необходимости улыбчато существовать, томительно намазывая на сверлящее сумасшествие бумажного хлеба маргаринное масло электрического света.

За забором пробора паяц не беременел сердцем, искрошенным в электрический суп, только, прищурившись, ставил отрывисто бьющиеся лохмотья грассирующих истерик, вырванных черными от легкомысленных трепанаций апельсиноподобного сердца хорошеньких нищих духом ржавыми ножами своих рассеянно подведенных глаз на движущиеся тротуары рельсодинамики своей дребезжащей интуиции, на аккуратно смазанных иронической реакцией шарикоподшипниках из женских глаз; молоча одинаково неистовей массивных электороотливок, образного эха, очередного кривомимичного выкидыща на резинке усталой стилизации или пыхтящего фуникулера нагромождений к верхней площадке из гипнотического солнца, на ископаемой спине пузатого дирижабля эрудиции. С смеющегося размаха ленивых концепций, как и по броско-эротической раскрепощенности стилизованной куклы из магазина Изы Кремер или по нагло-тревожной кувалде улыбки громко-картавой апостольской радости чумных зазубрин пудреного лезвия, победно носимого проституткой штандарта, красного от крови зарезанного Бога.

А по мощеным переулкам сердца все громыхало* лезвиями колес из отточенной логики — лязгающая поступь колоссального векселя — удушливыми балками, сетью колючих безжалостно координированных честолюбием воспоминаниями, — векселя, криво и косо исписанного Вечностью «с тех пор», измазанного кровью варварского маникюра эстетики, в пьяных подчистках, нарочно закапанных едкими чернилами любовий, с масляными лысинами разбрызганных, <в>эгоистической слюнявости пушечных возвратов, рабочих взрывов, неумелой нежности смазочных слезо-облачных подшипников в клепаном черепе Его многоцилиндрового сумасшествия.

Сутулые номера, украденные крашеным сутенером прошедшего.

Семнадцать астрономических нулей поставила оглохшая от выстрелов певица <?> в растерзанной кофточке застрелившихся материков и пьяных морей в замусленную тетрадку Евангельских откровений.

Семнадцать новых безмолвно хохочащих пастей невидимых капканов потухших орбит, сорвавшихся с оси обглоданных маховых колес в неосвещенные сараи гудящих мастерских вечности на звериной тропе венчальных столетий.

^{*} Слово зачеркнуто. Вместо него вписано карандашом другое, неразборчивое.

С тех пор, когда из заплеванного вагона полицейского Экспресса Стратегической дороги, из параболичной мерности темных туманных пятен, между боевыми гаванями крикливых узорных и пестрых городов: стремительных бегов в газообразном золоте победных радостей. Чугунной скользи колоссальных отливок терпкого безумья в откопанные провалы нарвавших могил, мрачные колодцы головокружительных туннелей, в чернильное небо Встревоженного ГРЯДУЩЕГО.

С тех пор, когда на географический перрон эстрады из потного грохота Двенадцатидюймовых пропеллеров, чеканящих бронзовые морды тропически радостных полдней, то гулкие зрачки полированной непроглядности Черной громады полночей.

А на промозглой ряби серо-защитной мути усталой вечности каторжной чуткости маховых будней лопающиеся пузыри сумасшедшего грохота с вздувшимися жилами проводов на клепаных* лбах дневного ожога громовых памятей в клетчатых лохмотьях гремящей гари фабричных корпусов. Удушливые взрывы прессованного грохота, чугунная мелодия ночного дрожания арсеналов и верфей, солнцегремящих броневиков из прокованных туч <нрзб.> молний за пристальными зрачками чутких орудий в кружевных кофточках блестящих механизмов, захлебывающиеся визги восторженных пулеметов, победные петли никелированных метеоров с оглушительно орущими пропеллера-

^{*} Слово зачеркнуто. Вместо него вписано карандашом другое, неразборчивое.

ми, прихотливо вырезанными из неба разноцветными крыльями, прошитыми серебряной проволокой истерик арсеналов и верфей. Металлические здания громоносной улицы, ухабисто мощеной черепами издохших планет — громоносная четкость улицы пантеизма, гудящей двигателями столицы, накокаиненной истерикой смеющейся поступи мерного синтеза Сиятельной Вечности с сбившимся в астрономическом беге шиньоном дыма.

Гулкие пролеты трясущихся небоскребов интуиции, залитые могучим светом электрических солнц, восторженных кранов с стеклянными ящиками бенгальского наркоза в блестящих шарнирах стального кулака.

Семнадцать лет как между правой и левой бесконечностью спрыгнул из заплеванного вагона лысый агент в измазанных пеленках ношеных недель сутулого детства к пыльной решетке зевающего исступления сточной клоаки Современности, вокзальной мути, к обшморганному буфету сентиментальных возможностей, бесстыдно заставленному дешевыми стеклянными тарелками холодного супа любви с плавающими пятнами сала, стертыми монетками серой эротичной мило-голубой богадельни надорвавшихся зорь. Семнадцать и Тысячу нарочитых усталостей от бьющих шумов случайно изжеванных зорь.

Поэтому в режущий сумрак каждого сегодня образно лгал о себе до того четко, что никелированные пальцы ассоциаций, наматывая, как вожжи, взъерошенные нервы, ежедневно купали его в удушливом ужасе зубчатых пролетов млечной раздвоенности, заставляя издерганно теплить сверлящие памяти надоедливых бенгальских огней на улицах духа спасительной ваты в зубчатках мозга.

3

А когда размахавшийся маятник небесной четкости обязательных восходов и закатов громко застрял между сонными зубцами стертой зубчатки деревянных будней, сцепившись, как крутокормый бронзоносый разбойник, укусивший обрюзгший борт распухшего золотом купца с желтыми морщинами заспанных ветром парусов железными клыками неистовых крючьев фейерверочного абордажа; сцепившемся коме багрового от крови праздника орущего пламени подожженных истерикой трюмов обессиленных будней, радостно грызущего с воем высохшие перегородки к пороховому погребу цинковых бочек, с сердцем обезумевшего вандита, конвульсивно срывающие полезные щупальца взаимного чувства на каменной мерности головокружительной скользи окровавленного пламенем быющегося кома случайностей, по мокро-блестящим хребтам ископаемой резвости зубчатых круговых валов, разошедшихся со скрежетом радужными кольцами пушечного прибоя времени, под облачной пяткой недавно наступившего бога, пляшущей скользи минутных дребезг к зазубренным берегам тропической смерти.

^{*} Рядом карандашом приписано не совсем понятное слово, возможно, это «случайно».

А когда на фатальном четырехугольнике центробежной истерики календаря недель заскочила окровавленная тряпочка, четкий штандарт сумасшедшего праздника случайности, безукоризненно закованный в балахончик модного излома Безответственный Он на вечерних улицах громыхающей жизни мучительно думал, что думает, как выстрел браунинга в кармане пьяного неожиданно встретил Предтечу в электрическом щупальце магазина, раздавленного на тротуаре, крашеного вырожденца с тысячелетним пробором на пудре головы. Через сотни родильных радостей рекордных сальто-мортале дверного хлопка в суетящуюся междупланетность, с вечным несессером отточенных истерик, пантеистических зеркалец, элегантных говений Коммивояжер Космоса от огненных и серных гимнов скорбного пустынножителя громо-солнечной поступи ало-радостных зорей танцующего грядущего с грациозно-надоедливым забеганием вперед, прыгая с кратера на кратер библейских букв через еретическую скуку к эротическому золотоволосью Четкого Века цветных стекол, на плохо чеканенные деньги остроскулого герцога в причудливой меди призовых лат с фосфоресцирующими пентаклями на кожаных оборотах, через горькие вензели ассонирующих слов.

Меж звонкими этажами Шелкового гавота стильной архитектурной похоти из цветного майолика к потному времени в размотавшихся портянках из напрестольного полога, вбивающего ржавые гвозди бессмысленных гибелей в головы неспособных или больных подмастерий и учеников. Аккуратно умы-

тый позавчерашним альковом, крикливая девочка с асимметричными членами мерзкой наследственности взорванных жизней — Предтечу, скрывающегося от мобилизации космоса, форменным мальчиком у захарканного лифта искусства, мягкие двери которого отрезали немало пухлявых пальцев внутренних романтических женщин. Одного из патентованных далей высоконаучного небоскреба попыток. На ветру революции простудившего сердце времени — отдохнуть на середине прыжка в лазурь.

Раскашлялись.

О супе, о солнце, о гидравлическом поцелуе наркотического наитья, о социал-аллегоричной патетике иконами бронированных фейерверков шестидюймовых слов, но через патетическую горсть скорби испепеляющих плевков разговора двух плешивых трагиков после акта романтической ненависти; о париках или тухлой семге сальных анекдотов в арестном доме солнцегремящего выкрика; или покровительственных похлопываний по квадратному плечу пролетающих мимо двойных трехцветных солнц атлетических юнцов, честных отцов многочисленного семейства, простуженно рыскающего по холодному эфиру, вежливо чихающих в огромные платки из темных туманностей — спектрорежущие протуберанцы в добрую пару Млечных путей.

Как автомобиль в витрину кафе, врезался звонок внутреннего телефона. По откинувшемуся окошечку с штампованным изображением дореформенного архангела звонок визгливо кричал из частного кабинета Еговы на меблированных Гималаях лязгающего духа. Предте-

ча лениво вытащил золотой портсигар с модернистическим рисунком, элегантно прикурив о Канопус толстую папиросу собственной набивки. Разбросал лакированной ногой улыбки говеющую кучу вопросительных знаков, нахарканных зрачками, растущими от удивления на смазанную серость гудящих канцелярий и мастерских аккуратного Космоса, как круги на буколической луже, и сказал: «Просто сейчас в асбестовой трубке небезопасно в пожарном отношении». «Молнии, громы и голоса — одна из звездно-официальных традиций на работе в желудке подклеенного монизма», — прибавил он с улыбкой, создавшей несколько вулканических островов и землетрясениями эффектно обрушившей несколько уцелевших подводных храмов на Атлантиде; кое-где загорелись новые звезды. «Простите, я только на одно воплощение», — у телефона оказалось, что изза искренней минуты затормошенного Куковского гида, сиятельно-культурного рационалиста во всеоружии железобетонной окрыленности снисходительно концептуализирующей эрудиции.

Из-за искренней минуты лифтового боя вечности, напомаженно демонстрирующего оберточные зори мистических взлетов в инкрустированные живыми глазами передохших от эпидемии Заратустро-смеха серно-медных представителей апокалиптического зверинца, оловянного ларца в футляре из золоченых облаков. Взлетев в никелированные возможности духовного сладострастия познающего, сорвался с высоты десятиэтажного солнца на резко мертвящий ветер маховой млечности бесконечного ремня звездных полей,

плешивого от сытости страдания одного из зацелованных софистов из эротоизмученных, заселяющих клопастую ночлежку ониксовых зрачков газетного идола прогрессирующей современности, звездных мотивов бряцания, сутулых всхлипов лавровенчанных поэтов с капустой в бороде.

Ему, слышал я, вычли из жалованья каменных тысяч процентных возможностей яркого случайного Аккуратный космос в железных очках на символическом безглазьи, архитектурные восторги двух интересных тысячелетий и почетное акушерство у какой-то планетной системы с длинным названием.

|4|

А я пошел дальше, спотыкая и кашляя ювелирный смех.

А хромая душа моя, контуженная криком настоящего страдания, душа, вздувшаяся и потрескавшаяся местами, тогда когда чугунными пальцами маховика Хочу схватилось за режущий пламень молнии тоски о предвечном ожерельи из разноцветных солнц, сорванным человеком, как рабский ошейник с астрономической росписью Еговы.

В отдельном кабинете вечности, аляповато расписанной апокалиптическими зверями за исторический брудершафт <c?> наглыми тысячелетиями с грубо подрисованными фабричной копотью глазами выцветших икон, с тонкими губами растрескавшихся окопами мостовых, липкими от ликерной крови изжеванных революций.

Толченого дьявола фарфоровых лет в кипящей водке мессианских надежд из чугунного кубка Последнего случая.

Пестрой истерики чернильного зева колоссального пактауза недоношенных лет подарил из сострадания чахоточному прошлому клепаную маску лязгающего себя. Впервые разбежавшись в зеленокрышем, еще не захарканном топкой гарью рыжих фабричных корпусов буколическом мезонине своего заплаканного синтеза колючими облаками торопливых ангелов с лиловыми колчанами исполнительных молний.

Тогда когда, впервые раздвоясь, попробовал Гулкого развенчать масляной пятерней рабочего движения, дрожащей от бесчисленных поцелуев паровых молотов в красные губы раскаленного будущего, бесчисленной стремительности взрывов космического неразумия рабочих громов современного человека — шаровых молний в переднике поршня, с мелькающей лопатой улыбающегося электрическими бликами шатуна; дрожащей рукою, ковавшею громоносную улыбку Становления, строившую, мол, для комет залпами гаубиц, вбивавшую сваи дохлых восторгов трибуна железобетонной улыбки, истинно громоносной. Достроенная вровень с глазами бога трибуна человека и эстрада для молнии. Настолько высоко вырос человек, что молния поразит и убьет его, Заратустра. Молния ужаса перед мелькнувшим ослепительным ликом мятежного серафима в порфирах прищуренных дьявольских глаз. А в гнилых оскалах проваливающегося рта — испепеляющее виденье свято целующих губ.

Раскололся человек и полетел, тяжело махая лиловыми крыльями, утыканными бесполезными пропеллерами.

И вот что рассказал мне дух мой: в приоткрытые веки из полированных облаков* грянули квинтессированные ночь, сон, пространство, бесконечность.

И не Бог убил человека — человек не вынес, что у Бога нет человеческих глаз. Молния ужаса поразила и разложила всякое сердце, ибо в то, что создал человек, создавший всегда найдет доступ. То, что создано, то и было разрушено: чугунные краны математических лязгов, понтонные дороги белых идей по небу лазурных случайностей, бронированные беги сиятельных коллективов, колоссальные параболы мостов эрудиционной интуиции, небоскребы монистического всеоружия на быках истеричного факельного геройства, зоркие башни концепций, подобные застывшим в воздухе ракетам из железа и стекла. Крылья режуще-желтой молнии ворвались в святая святых, ибо они оттуда простерлись. Дворец синтеза был взят приступом. И вслед за электрокаменным сердцем Духа Времени моментально выцвели и <нрзб.> бесчисленные сердца духов времени. Никелированные громы с красными бликами пожаров помогли саморазгоранию пактаузов и элеваторов положительных безумий, факелы городов расписывались кровью своих зарев на траурных докумен-

^{*} Над этими словами неразборчиво карандашом вписано несколько слов, возможно, как вариант на замену.

тах грозовых небес, а по улицам жизни проносились утыканные флагами выстрелов трамваи серебряных пальцев осмысленной смерти.

|6|

Но в этот год, как и в следующий, по-прежнему рождались дети, а в бирюзовой эмали осеннего неба, где красные глыбы закатного мяса вламываются в чуткую ясность эмалевой синевы, в молочном золоте примиренных облаков подолгу загорался крест и медленно гаснул для нового вечера.

Потертый и изломанный символ страдания почти что не имел уже собственного света, потому что люди на сапфировых чашках из опрокинутых небес почти что свесили кровь распятого миллионами чудовищных кровей. На радостном небе, где всегда голубая заутреня, Христос все чаще уходил в алтарь. А когда возвращался, то радость одежд Его была все более и более проста и ослепительна, взамен изумрудной брони кованой ризы первых дней становления.

|7|

Конвульсии стеклянных век моих, фыркая ассонансы, переехали напудренный снегом вокзал моей какой-то любви, впрочем, когда день осторожно очнул переулки моего незнающего сознания, а по вымощеным нарезан-

ными ресницами пустым утренним улицам моего черепа, сонно петляя ненужные взлеты, прошелестели с громом пожарные команды минутных страстей, я был даже зыбко доволен, так как с рельс сорвалась Новая Возможность, тревожный облачный выключатель новенького восьмицилиндрового сердца типа торпедо по радуге.

Пристальная голова, рассеченная пробором, сонно ступая ногами сознанья в калошах довольных улыбок на изумрудно бумажный кол, инкрустированный золотыми пагодами, игуанодонами, рыцарями, задохнувшимися под тяжестью серебряных лат на гремящих турнирах.

Узорно-дымные, вечно готовые расцвести опалами филигранных грез материки сна, покорно выхаркнутые теологическим выкидышем, взломавшим сваи солнцеразящей плотины нарождающегося, Прометеем, под револьверным глазом чугунной отрыжки стоптанной за день души.

8

Сказала душа моя: «Я, сегодня чиркнувшая о солнце свой настоящий скелет, что я вижу?»

Тусклым пожаром минуты серой зажгла и расплавила золото божьих ланит. Ах, покраснел за вас и заплакал.

В божью слезу, в чадное море огня ввихрила тралящих пальцев горсть.

Здесь, где минута — роспись Сириуса на книге небесных катастроф, фейерверочный закат тысячелетнего дня.

Я.

Ломкая мензурка с квинтессированным космосом. Взорву гаубичной мелодией лопающихся нервов донную мину своего извечного сумасшествия.

Разноцветно гремящим дождем испепеляющих слез истерики содомо-гоморрского неба.

9

А сегодня машу колоссальным штандартом с собственноручной пушечной печатью заходящего солнца современности с красными от звездного мороза щеками, с преждевременно обрюзгшими морщинами наркотической бессонницы и эротичной скуки. С каббалистическими пентаклями будущего на кирпичных оборотах, с кляксам потных облаков, с забытым отсветом революционных пожаров, вышитых золотыми нитями гипнотического наитья, серебряной проволокой истерик, агатовым бисером конвульсивных зрачков наркотических откровений, остробокой сталью никелированных вензелей смеющейся эрудиции, прожженный раскаленным рисунком сумасшествия, продранный чернильными молниями вертящейся пустоты израненного взгляда терпеливого Бога. Ждущего поступи двенадцатидюймового гр<охота> отдаленной дроби убийственной. То раскаленного расплесканным солнцеразящим хохотом холодного супа сутулых любовий в стираных портянках физиологической трезвости.

А сегодня машу одной из бесчисленных каменных плащаниц самой высокой из башен смерчей, выброшенной задыхающимся воздухом в промозглом осеннем тумане спокойной истерики, прослоенной режущим дымом сгоревшего мозга великого числа концептора железобетонного облака лет, имя которому 1000. Поистине хороший улов сделал сегодня Заратустра: ни одного человека не уловил он, но зато уловил

ТРУП.

Ростов, ночь 16-17 октября 1919 г. Новороссийск, январь 1920 г.

